

*На Небе нет нуждающихся:
там все блага преизобилуют.*

Из «Размышлений христианина
об Ангеле Хранителе
на каждый день месяца»
(по изданию 1890 г.)

*Мы не грустим, даже когда нам с точ-
ки других народов явно плохо.
Но чтобы нам было самим плохо, этого
добиться практически невозможно.*
Сергей Пылёв

Виктор Прокофьевич сосредоточенно пригляделся: мимо его дома по набережной на фоне загустевшего сине-зелёными водорослями Воронежского моря, сейчас похожего на огромный луг с тяжёлым тухлым запахом, катился велосипедист — мужичок-худышечка лет несколько за шестьдесят, седенький, сильно спутулившийся и через то похожий на горбуна. Эка, казалось бы, невидаль! Но была у этого путешественника одна серьёзная особенность, которую никак нельзя было не заметить: у его велика отсутствовали обе педали. Так что он катил свою технику как мальчишечка самокат — размеренными толчками левой ноги. Шарк-шарк-шарк... Упорно так. Как ни в чём не бывало. Мы, мол, такие. Завсегда. Нам пальца в рот не суй.

Сей абсурдный способ передвижения невольно навёл Виктора Прокофьевича Степанова на стезю его привычных больных размышлений: годы его крайние, серьёзные, то есть пожито им от души, но ему так и не довелось увидеть, чтобы главный человек в нашей стране, так называемый «простой», жил нормально, в достаточном благополучии, а не наперекосяк, как обычно оборачивается для него здешнее пребывание.

Правда, был прецедент. В годы оные как-то власть замахнулась порадовать своих вассалов... Что тогда такое особенное на Никитку Хрущёва нашло?... Откуда только объявилось в нём невиданное рвение сотворить из бродившего по Европе призрака коммунизма в конкретные двадцать лет самый что ни на есть настоящий, реальный, хлебосольный?

Вспоминать тошно. И забыть невозможно. Особенно горячее заверение Никиты Сергеевича в канун коммунизма показать советскому

народу — нет, не кузькину мать, а последнего попа! До сих пор особая невиданная бравурность того времени перед глазами стоит...

С молодых ногтей ожидание построения коммунизма стало у Вити самой настоящей путеводной звездой: крепко, зачарованно уверовал он в «кукурузника»... А как не прийти в восторг перед грядущими светлыми горизонтами, которые тот распахнул шире небес?.. Ведь никто и предположить в те годы не мог, куда заведёт их этот разоблачитель культа личности. Неспроста какой-то там скульптор Никите Хрущёву посмертно на могильном надгробии голову сделал из белого мрамора и чёрного гранита: свет и тьма.

Поньне Виктор Прокофьевич, как найдёт на него тоска по несбывшемуся коммунизму, в сердцах обложится томами Маркса, Ленина да Сталина, Макиавелли, Кампанеллы или того же Платона — всем, что умные и не очень люди понаписали за века и тысячелетия о загадочном светлом будущем... И вчитывается обстоятельно, дотошно, со строгим разумением. Иногда до лихорадки! Упёрто надеясь уловить-таки ответ, на чём и где строительство коммунизма в СССР оскользнулось.

«Известное дело... — бывало, пошучивал на эту тему сосед Степанова по лестничной площадке Анатолий Голомёдов. — С призраками не шутят. Вон у нас под Воронежем, в Рамони, как-то приступили восстанавливать старинный замок принцессы Евгении Ольденбургской, урождённой княгини Романовской. Так тем людям, которые это важное дело начали, вскоре стали являться всякие разные призраки — в итоге почти все они как-то нехорошо, один за другим, вдруг померли... И так это весь тамошний народ привело в трепет, что работы пришлось остановить, и надолго».

За пристрастность Виктора Прокофьевича к высоким размышлениям сосед Анатолий всегда был к нему со всем уважением особо расположен. И как только в жизни российской очередная новость происходила, он тут же и объявлялся перед ним для её пунктуального разбора. А новости регулярно накатывали такие, что мозги враз клинит: то цены на харч невесть почему прыгнули, то лекарства вмиг стали такие, что не купишь, за оплату ЖКХ половину пенсии отдай, с Украиной никак на мирные рубежи не выйдем, и вообще...

Совсем недавно они более чем встревоженно говорили за недавнее повышение пенсионного возраста. Сам Анатолий был молодым пенсионером, вовремя проскочившим мимо неожиданно грянувших возрастных перемен: ещё недавно слесарь-водопроводчик местного жэка, он второй месяц вдохновенно отмечал своё шестидесятилетие и первую пенсию. Так что обретался с утра до вечера во всей мужицкой простоте — смятых морщинистых трико и растянутой, провисшей майке, застиранно-серой. Только волосы на голове у Анатолия при всём его зрелом возрасте были без единой седой искры, свежо мерцая радужным антрацитовым блеском.

— Возможно, это и в самом деле неизбежность... — строго вздохнул Виктор Прокофьевич. — Во имя улучшения дальнейшей жизни нашего народа.

— Значит, по-твоему, если я сознательный гражданин, мне надо от пенсии отказаться и снова топтать на работу в мой любимый жэк? — судорожно вскинулся Анатолий. — Тогда и ты, Прокочыч, отправляйся трудиться прямо завтра с утра пораньше в свою рыбокопильню! А чего? Ты в свои семьдесят два мужик вполне резвый. Потом же, был ударником коммунистического труда! Вкалывать тебе — манной кашей не корми!

Закрыв за соседом дверь, Степанов аккуратно попросил у Алевтины «капелек».

— Что-то сердце заискрило... Как короткое замыкание...

— Я сегодня в храме вечером буду... — робко проговорила Алевтина. — Так и закажу панихиду за твоё здравие... Или даже сорокоуст!..

И тут Виктор Прокофьевич, как это бывало не раз, когда дело доходило до храмовой темы, потянулся к книжному шкафу. Это грандиозное сооружение из маньчжурского тёмного ореха, увенчанное царской короной в цветах, в своё время досталось ему по наследству от деда-краснодеревщика — и было оно работы дореволюционной, рюкательно-старательной.

Он бережно вытянул из общей обоймы томов Платона, Аристотеля, Цицерона или того же Ленина вкупе с Гегелем тоненькую, старательно зачитанную брошюрку «Морального кодекса строителя коммунизма».

Тихо, нежно проговорил:

— Вот она, моя Библия... Я, Алечка, атеист коммунистической закваски, а ты... сорокоуст!

Виктор Прокофьевич усмехнулся. Правда, больше похоже было, что он нервно всхлипнул.

— Если бы не предательство Хрущёва, как бы мы славно жили при коммунизме! Взаимное уважение: человек человеку — друг, товарищ и брат; честность и правдивость, простота и скромность; неприимчивость к несправедливости, нечестности и карьеризму... Золотые слова! Такие не стыдно на небесах во всю ширь начертать!

— Сто раз я всё это от тебя, дурака некрещёного, слышала... — одними губами усмехнулась Алевтина. — Только в этом твоём «Моральном кодексе» половина всех слов откуда? Из Нагорной проповеди Господа нашего Иисуса Христа. Недавно наш батюшка говорил в храме, что Путин тоже так считает... И даже главный коммунист Зюганов! Креститься тебе надо! Все твои нынешние переживания ерундой ненужной покажутся. Как на свет народишься!

Виктор Прокофьевич принял корвалол и смущённо зажмурился...

...Летняя утренняя Волга под Сталинградом с ярким парадно-белым корабликом на свежей и словно молодой после ночи воде. Он компактный, манёвренный и называется «речным трамваем». Витенька, будущий Виктор Прокофьевич, рыбокопильщик морепродуктов воронежского холодильника № 2–3, ударник коммунистического труда, сидит с родителями на второй застеклённой палубе в буфете, который ярко пахнет шампанским, пирожными и ветчиной. Он в матроске и кожаных сандалиях с дырочками. Отец, Прокофий Ильич, в белом летнем кителе с кортиком в чёрных лакированных ножнах, курит папиросу «Казбек» из твёрдой распаивающейся пачки, на которой на фоне белоснежных гор летит в чёрной бурке стремительный всадник. Отец только что выпил стакан шампанского и слегка вспотел. Мама, Татьяна Яковлевна, вглядывается вдалеке через похуже на линзу толстое горячее стекло иллюминатора, словно пропитавшееся солнцем.

С верхней палубы в буфет, изогнувшись, заглянул экскурсовод.

— Товарищ военлёт, подходим! Уже хорошо видеть! — восторженно крикнул он.

Над яркой солнечной Волгой на высоком постаменте с гранитным цоколем стоял двадцатидвухметровый генералиссимус в шинели и с непокрытой головой. Он был так велик, что облака сверху воспринимались всего лишь как дым от его знаменитой трубки. Чеканная тысячетонная медь величаво золотилась на солнце. Сталин со своей святогоровой высоты глядел вдалеке с недоступной задумчивостью. Памятник казался живым, но это была непостижимая грандиозная жизнь, в которой человеческий век — лишь короткий миг. Памятник жил вечностью.

— Обратите внимание! — торжественно сказал экскурсовод. — Размеры скульптуры поражают своей колоссальностью! На погоне сталинской шинели может свободно разместиться автомобиль «Москвич!» Пуговицы величиной с офицерскую фуражку!

Он говорил так, словно доверительно приобщал экскурсантов к какой-то одному ему сполна открытой тайне. Это был не экскурсовод, а жрец.

Человек, которого связывало с фигурой на постаменте что-то сокровенное.

— Как задумчив облик вождя! — счастливым голо- сом прокричал экскурсовод. — Сколько глубоких мыслей на лице!

— Дяденька, а о чём думает товарищ Сталин? — пискнул Витенька.

— Он думает о твоём счастливом детстве! — вдох- новенно улыбнулся экскурсовод. — И о том комму- низме, который будет построен в нашей великой стране по его заветному плану!

Он ласково обнял будущего рыбокопильщика. Волжский ветер трепал ленты Витенькиной ма- троски. Они оба смотрели на памятник, и все пас- сажиры неотрывно глядели на этот медный утёс, постамент которого был в крапинках людских фи- гур, точно засижен мухами. Глядели так, как будто неожиданно увидели близкого, дорогого человека. — Ур-р-ра! — вдруг крикнул кто-то с такой силой, чтобы наверняка докричаться на высоту памят- ника.

— Ура!!! — крикнули все остальные.

...Из путешествия во времени Виктора Про- кофьевича вернул радостно знакомый звук — в стену его хрущёвки призывно постучал Анато- лий. Это ещё издавна установилась у них такая дружеская «морзянка». С шестьдесят восьмого, когда их родители сюда из бараков переехали, а они с Анатолием подобную методу связи завели с мальчишеским озорством.

В общем, как придёт у кого из них душевное напряжение до крайности, до надрыва, так вот тебе типа домашней «стены плача» — постучи, и тебе откроют...

— Чего тебе, дорогой? — энергично распахнул он дверь перед соседом, выставив вперёд добро- душную улыбку.

— Пару слов сказать... Весьма продуманных и от- ветственных. Извини, я снова насчёт повышения пенсионного возраста... — многозначительно ёмко проговорил Анатолий. — Эх, Сталина на них нет!

Извиняюще вздохнув, Виктор Прокофьевич решительно шагнул на кухню и взял пару хру- стальных увесистых рюмок.

— Предлагаю первый тост — за коммунизм! — ещё, как видно, не совсем покинув свой сон, торже- ственно объявил Виктор Прокофьевич. — Оказы- вается, ещё товарищ Сталин хотел построить его в нашей стране! Да не дали ему всякие там хрущёвы. Хочешь, я тебе в реальности изложу, как умирал наш Иосиф Виссарионович?..

Анатолий бдительно напрягся. Подпривстал. — Мама покойная рассказывала... — Виктор Про- кофьевич взволнованно прищурился. — Под боль- шим секретом. Чего ни в каких книгах или самых секретных архивах по истории партии не сыскать. Итак, на дворе роковой мартовский день... Това- рищ Сталин мылся в бане... И вдруг почувствовал

себя плохо... — Виктор Прокофьевич недовольно оглянулся — к ним важно шла через зал Алевтина с тарелкой только что испечённых жарких котлет с тушёной капусткой. — Спасибо, добрая женщина... Но вернёмся к теме! Итак, товарищ Сталин мылся и вдруг... упал. Глаза Иосифа Виссарионовича закрылись, казалось бы, навсегда. А через стекло двери охране всё это было хорошо видно. Однако ломать её и срочно броситься на помощь они не решились. Кинулись искать Берию. Через час-дру- гой у бани сошлись Лаврентий Палыч, Никитка Хрущёв, Микоян, Маленков, кто-то ещё. Но и всем скопом эти государственные люди робели войти. Точнее сказать, в штаны наложили. А товарищ Сталин всё лежит... А они мнутя, друг друга вперёд легонько подталкивают...

— Ну ты даёшь... стране угля! — с хрипотцой тя- жело выговорил Анатолий.

Виктор Прокофьевич строго откинулся на спинку стула, руки опустил со сжатыми отяже- левшими кулаками — чувствовал особенность наступающего момента.

— И тут этот, Хрущёв, на четвереньки опустился... Выждал. Даже зачем-то принюхался. Приглядел- ся... Так и эдак. А далее лёг и пополз по-пластун- ски вперёд к Иосифу Виссарионовичу: медленно, неуклюже, с оглядкой, напряжённо прислушиваясь к каждому шороху. И наконец-таки достиг това- рища Сталина. Ладонку к его лицу протянул... Каков момент! И вдруг оглянулся — бледный, пот- ный, глазки бегают. «Дышит...» — прошептал-про- лепетал голосом испуганного донельзя ребёнка. И тогда Сталин, не открывая глаз, сказал им свои последние в этой жизни слова. Тихо, очень тихо, но тем не менее достаточно отчётливо: «Без меня... пропадёте».

— Ах ты как!!! Ёк-моёк! — подхватился Анатолий — судорожно, вёртко. — Спасибо, Прокопыч! Вон оно что, оказывается... Да-а-а... Ладно. Пойду к себе. Хочется обо всё этом сугубо наедине поразмыс- лить. Если что, я — рядышком! В полной боевой! Артиллеристы, Сталин дал приказ!

— Из сотен тысяч багарей, за слёзы наших матерей, за нашу Родину — огонь! Огонь! — командирски усмехнулся Виктор Прокофьевич. — Что, Толенька, готов ли ты в бой после такого моего рассказа?

— Всегда готов! Спина только немного болит... Под лопаткой...

— В том месте, куда моджахед тебя камнем звез- данул?

— Ага...

Анатолий накоса запрокинул назад голову, слов- но хотел увидеть, каковы же нынешние послед- ствия того боевого ранения. Будто бы полученного им при штурме дворца Амина под Новый год в былом 1979-м.

Виктор Прокофьевич с серьёзной, строгой улыбкой прицельно наполнил рюмку Анатолия.

— На посошок? — нервно-весело отреагировал тот.
— Нет, дорогой. Всё проще... У меня к тебе просьба. Выпей и выполни её: никогда больше не рассказывать мне байки о твоих подвигах в Афгане. Ты, Толян, даже срочную не служил. Извернулся как-то.

— Типа того! — покаянно-весело вскрикнул Анатолий. — Понял, сэр! Есть... Ноу проблем!

Минут через двадцать Анатолий перезвонил на смартфон.

— Если он к тебе сейчас будет лезть с новой бутылкой, я уйду из дому! — ярко побледнела Алевтина, точно её впритык лунным светом озарило.

— Давай без крайностей. Не искри... — напрягся Виктор Прокофьевич и сосредоточенно постукал костяшкой указательного пальца по экрану гаджета.

Голос Анатолия коряво, но прорвался.

— Прокопыч! — шумно, суетно, как с разбегу, загворил сосед. — Я в нашем магазине. Как от тебя вышел, так сразу пронзительно почувствовал: недопитие у меня. Болезненно-острое. Учитываю глубину твоего легендарного откровения о последних заветных словах товарища Сталина. Я в таком состоянии озвереть могу! Вот и заскочил за чекушкой... Не более того. Это у меня чётко отлажено... А тут, Прокопыч, а тут, в магазине, наш сосед посреди зала на полу мертвецки лежит! Вона как!

— Что за сосед?.. — сдавленно кашлянул Степанов.

— Из пятой квартиры! Михалыч!

— Пьяный?..

— Покойник, Прокопыч!

— Не дури!

— Существенно говорю! Уже трупные пятна по лицу пошли.

— Допился?..

— Оно как бы так, да не так... — потишел Анатолий. И вдруг строго, рассудительно добавил: — Ему полгода до «пенсии» оставалось. Он её уже в кармане чувствовал, как там шуршат долгожданные десять тысяч. А теперь пролетел. С грянувшим с небес повышением, так сказать, «пензочьего» возраста! Похоже, инфаркт. Сейчас точно буду знать. Вон фельдшер скорой к нам бежит. Со всех ног! Да ещё чего-то матюкается на весь зал! Может, и его долгожданная пенсия ему кукиш показала?

Этой ночью Виктору Прокофьевичу упёрто не спалось.

Алевтина заботливо напоила его корвалолом, однако незримая стена между явью и забытьём оставалась непоколебима. Точно кто-то наказующе не пуская Виктора Прокофьевича в благодатную сферу сновидений.

Так всю июньскую ночь и просидел он на балконе, понурясь...

...Тут и вспомнился Степанову тот октябрь 1961-го гагаринского года, когда ему, ученику

шестого класса, вместе со всем советским народом торжественно распахнулись ворота в счастливое коммунистическое будущее! А трамплином в эту эпоху благоденствия стал ныне всеми забытый двадцать второй съезд Коммунистической партии Советского Союза. Посейчас помнит Виктор Прокофьевич, как они всей семьёй следили за ходом съезда по телевизору. На столе, застланном маминой кружевной белой скатертью, глянцево-блескучей от крахмала, стоял телевизор «КВН», который тогда расшифровывался гражданами так: «Купил. Включил. Не работает». С экраном чуть более пачки отцовских папирос «Казбек». Поэтому некоторые умельцы увеличивали изображение с помощью «аквариума» (стеклянной линзы, заполненной водой).

И вот из этого «КВНА» бойко звучал целыми днями песенно-азартный украинский голос Хрущёва: «Партия торжественно провозглашает: нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме!» Одним словом, впереди наш народ ждёт полная чаша счастья. Только-то и требуется от тебя на пути к нему, что воспитать высокое сознание общественного долга, а также жить по принципу: каждый за всех, все за одного, человек человеку друг, товарищ и брат. Плюс непримиримость к несправедливости, карьеризму и стяжательству...

«Наши цели ясны, задачи определены, за работу, товарищи!»

В ответ на певучий возглас Никиты Сергеевича все пять тысяч ликующих делегатов съезда с восторгом встают все разом, точно взлетев, а их продолжительные аплодисменты вскоре перерастают в бурные, несмолкающие овации. Но даже сквозь шквал этих густых, чуть ли не артиллерийских звуков отчётливо, ярко слышатся громкоголосые лозунги, которые выкрикивают явно к тому назначенные особые люди с особыми лужёными глотками: «Слава КПСС! Да здравствует коммунизм! Да здравствует Никита Сергеевич Хрущёв!!!»

Такому историческому съезду народ «приготовил» и исторические подарки: построил самую крупную в Европе Волгоградскую ГЭС и взорвал самую мощную в истории термоядерную «Царь-бомбу» на полигоне на Новой Земле.

Отец, уже военный пенсионер, смотрел новости съезда несколько насторожённо, покряхтывая. А под конец так и вовсе вдруг выпил полстакана водки и ушёл курить в сад свой неизменный «Казбек». Это произошло после того, как первый секретарь Ленинградского обкома Иван Васильевич Спиридонов с суровой вдохновенностью предложил делегатам съезда принять решение об удалении тела Сталина из Мавзолея. Учитывав будто бы серьёзные нарушения Иосифом Виссарионовичем ленинских заветов, злоупотребление властью, массовые репрессии против честных советских людей и другие антипартийные

действия в период культа личности. А следом делегатка съезда, старая большевичка Дора Абрамовна Лазуркина с мистическим надрывом заявила, что накануне советовалась по этому вопросу... с самим Ильичём!!! И тот будто бы «стоял перед ней как живой» и говорил, что ему «неприятно лежать в гробу рядом со Сталиным, принесшим столько бед партии»...

— Это с Ленина начались репрессии!— не своим голосом надрывно крикнул в дверь отец.— Не зря народ его Антихристом окрестил!

С того дня Прокофий Ильич, «сталинский сокол», фронтовик, надолго запил... А там его уже поблизости инфаркт ждал, который в народе называли по-простому, понятно — «разрыв сердца»...

Как бы то ни было, страна точно в лихорадке какой-то зажила: для прорыва в коммунизм предполагалось ни много ни мало двадцать лет. На фоне первого полёта в космос всё казалось возможным в великой Стране Советов! Виктор тогда вдохновенно высчитал, сколько лет ему будет, когда грянет эпохальный коммунизм! Тридцать два годка! Ничего. Нормально. Будет он ещё вовсе не старик.

Виктор Прокофьевич поныне помнит, как в октябре шестьдесят первого слова про партию, торжественно обещающую через двадцать лет построить в СССР основы коммунизма, мощно, зримо раскинулись на карнизе крыши строительного техникума на проспекте Революции, заменив бывший обыденный лозунг: «Храните деньги в сберегательной кассе».

Коммунизм—это когда всё бесплатно, у всех всё есть, все всем довольны. У каждой семьи собственная добротная квартира с холодильником и телевизором. Рабочий день—четыре часа. Деньги отменены. Все питаются в общественных столовых. В магазинах бери любые товары, сколько хочешь. Всё равно лишнего не понесёшь в мешке. Автомобили свободно стоят на парковках, уже заправленные и лучшими мастерами досмотренные безопасности ради,—бери любой и езжай куда душе угодно.

И Виктор поверил Хрущёву—восхищённо, самозабвенно, с азартом. Тем более что Никита Сергеевич был для него тогда почти свой: он мальчишкой почти вблизи видел его с плеча отца в апреле 1957-го на митинге на центральной площади, когда Хрущёв приезжал в Воронеж.

«Здравствуй, будущее!»—каждый день звучала тогда из радиоточек во всех квартирах песня Мурадели:

Мы будем жить при коммунизме!
Его рубеж не так далёк.
Трудом мы, подвигом приблизим
Великий день, заветный срок.

И потом, позже, эта вера так и не покинула Виктора Прокофьевича, прошла все испытания на

прочность. Вокруг хохот и гогот—анекдоты про Хрущёва, про Брежнева, а Степанов каждого из них упёрто выгораживает, всякому их слову благородно верит: мол, на этот раз в Кремле сидит настоящий человек!

Только почему-то в народе не было особого праздника в связи с тем, что бродивший некогда по Европе призрак коммунизма вот-вот материализуется в родном Советском Союзе.

...Хотя некоторые к его приходу и полной победе стали исполнительно готовиться заранее. Соседи Степановых, Уваровы, жившие этажом выше, принялись ежедневно демонстративно ходить с котелками и термосами в ближайшую студенческую столовую за тамошней прогорклой едой, чтобы освободить себя от домашнего кухонного рабства во имя ускорения созидания коммунизма...

А когда однажды директор школы Павел Герасимович Черных, он же преподаватель истории, вызвал Витю Степанова к доске рассказать о том, как воплощается в жизнь моральный кодекс строителя коммунизма, тот машинально назвал Хрущёва просто Хрущёвым. Директор тотчас бдительно и несколько испуганно поправил его с особым идеологическим нажимом:

— Не Хрущёв, а Первый секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза Никита Сергеевич Хрущёв!

И это не забылось... Когда Виктор оканчивал одиннадцатый класс, Павел Герасимович в его характеристике сурово прописал, что юноша мало интересуется общественно-политической жизнью страны и к построению светлого коммунистического будущего относится с обывательским интересом. У него нет в глазах пламени настоящего комсомольского задора.

Расставаясь навсегда со школой, Витя на выходе чуть было не сбил с ног директора.

— Здравствуй, Павел Герасимович...—ошарашенно выдохнул он.—Извините, пожалуйста...

— Здравствуй, Степанов, юноша молодой!—кolorатурным серебристым голосом проговорил-пропел директор.

— Павел Герасимович, что же вы мне такую характеристику написали? С ней только в тюрьму...—тихо сказал бывший ученик.

— Я однажды заметил, как ты на улице заинтересованно слушал политические анекдоты... И так прыскал, так покатывался от хохота в ответ на фиглярство антисоветчиков!—Павел Герасимович бдительно прищурился.—Так что ты ещё малой кровью, деточка, отделался...

Витя нахмурился. Тот случай и ему не забылся. Шёл он как-то в школу мимо густо-жёлтой пивной бочки, да шнурок развязался. Пока он с ним управлялся, мужики азартно гоготали над анекдотами какого-то парня с блатной золотой фиксой на зубе.

— Или вот ещё, дяденьки... Едет Хрущ по автостраде в США. И тут за ним погнались гангстеры. Как быть?! Никитка быстренько настрочил записку и выбросил в окно. Гангстеры как её прочитали, так тут же умчались прочь. И что же он им написал? А написал он, что эта дорога, по которой они едут, ведёт к коммунизму!

— Валяй ещё, малый! — забавлялась толпа, заряженная весёлым лёгким пивным градусом.

— За мной не заржавеет! — прищурился тот. — Ловите! Бабка спрашивает деда: «Дед, а дед, коммунизм учёные придумали или политики?» Тот затылок поскрёб: «Конечно, политики, бабка. Учёные, они бы на собаках сперва проверили...»

Тут и продавщица пива, накрахмаленно-белоснежная да румяная, не сдержалась — так и повалилась на бочку от хохота и объявила, что за такое удовольствие налёт всей компании ещё по кружке «Жигулёвского» за свой счёт. Неразбавленного! Не успела водички добавить через эти самые анекдоты.

— А я всё равно верю в построение коммунизма, Павел Герасимович! И сейчас верю! — отчаянно вскрикнул Витя и заплакал.

Когда в 1964-м Никиту Сергеевича сняли со всех постов, вера в объявленное строительство коммунизма у Виктора действительно не поколебалась. Странное дело, даже окрепла. Он решил так: к власти пришли новые люди, со свежими силами. И чтобы доказать своё право быть в будущей коммунистической жизни нужным человеком, Виктор решил поступить в университет на физмат, стать большим учёным и создать для защиты коммунизма в СССР самую мощную в мире атомную бомбу.

Однако с характеристикой от Павла Герасимовича его не взяли ни в университет, ни в пединститут, ни в железнодорожный техникум. Бомбу пришлось делать другим...

А Виктор Степанов стал самым молодым копильщиком рыбы в СССР. А потом и самым молодым ударником коммунистического труда. Его фото на фоне красного знамени разместили в главной партийной газете Воронежа — «Коммуне». С тех пор день ото дня в Викторе прорастала самая настоящая крепкая пролетарская косточка. Через несколько лет он вступил в КПСС. И заветные двери универа наконец распахнулись перед членом партии, строящей коммунизм...

А с третьего курса его отчислили... По состоянию здоровья. Неврастения. Он вообще чуть было не оказался в психушке, когда, наконец, допетрил, что коммунизм в СССР, не начавшись, накрылся медным тазом. А вместо него в заветном 1980-м народу для отвода глаз устроили Олимпийские игры. И когда «наш ласковый Миша», опоясанный олимпийскими кольцами, улетал над зачарованным стадионом в кущи волшебного леса

под трогательную песню, Виктор, слыша слова: «Олимпийская сказка, прощай», — воспринимал их как прощание навсегда со своей мечтой о коммунизме.

Три месяца он пролежал в тёмной спальне, горстями поедая элениум и валериановые таблетки. Радио и телевизор не включали. Там по инерции по-прежнему пели про то, что «мы будем жить при коммунизме! Его рубеж не так далёк».

...Виктор Прокофьевич лихорадочно расчувствовался, мысленно оглянувшись на своё двадцатилетнее ожидание торжества всеобщего равенства и братства.

— Я в магазин... — вдруг глухо проговорил он.

— В домашних трико? — дёрнулась Алевтина.

— Тут два шага, Алечка... — судорожно кашлянул Виктор Прокофьевич. — И потом, все там меня знают. Никто не охнет, никто не ахнет.

— Алечкой ты меня сто лет не называл... Не подлизывайся!

— А ты не нагнетай обстановку.

— Всё ясно... — откинув голову, усмехнулась Алевтина. — Ты собрался за бутылкой. Поминки по коммунизму продолжаются? Это прямо твоя религия, атеист ты хренов... Какая там сегодня дата у этой дурацкой затеи твоего Хруща? Сорокалетие? Ладно, иди... — вдруг на удивление смиренно, почти ласково проговорила она. — Только поллитровку не бери, пожалуйста. В твои годы это много будет.

У Виктора Прокофьевича в левом глазу слеза объявилась. И почему в левом? Одинокая, сиротская. И уныло застряла во впадинке холодным комочком.

— Откуда в тебе такая сговорчивость объявилась?.. — осторожно усмехнулся Виктор Прокофьевич.

— Запоматовал, дедушка?! — засмеялась Алевтина. — А где я родилась, этого ещё не забыл?

— Ну ты даёшь стране угля... — вскинулся Степанов, с бодрейшей повёл плечами. — В селе Калиновка! Курской области.

Алевтина нежно взяла мужа за руку.

— А чем оно знаменито?..

— Включаю память...

— И так?..

— Не спеши. Дай шестерёнкам в голове как следует повернуться.

— Особенно не напрягайся. А то, чего доброго, шарики за ролики заедут.

— Фу-ты ну-ты, ножки гнуты! — почти молодецки хватил себя по колену ладонью Виктор Прокофьевич. — Это же родина Никиты Хрущёва... Ты столько раз говорила, как там у вас всё было тогда, при его правлении, ладно обустроено, какие дороги! Какой клуб!

— И мои любимые конфеты «Чио-Чио-сан» всегда лежали в магазине! Колбаса краковская не переводилась! Масло сливочное вологодское!

Коммунизм у нас был самый настоящий, вами никем отродясь не виданный!—Алевтина плечом энергично повела, особенно так подмигнула:—А вот тебе секрет отчаянный! За него и сейчас срок получить можно! Я его всю жизнь в себе таила, милый Витенька! В общем, известный тебе товарищ Брежнев— тоже наш, калиновский!.. И жил с родителями в доме как раз напротив семьи Хрущёвых! Так они, Никитка и Лёнька, меж собой с самого детства враждовали, кому на улице верховодить!.. А насчёт Днепродзержинска Брежневу потом специально выправили в документах. А всем калиновцам повелели держать язык за зубами. Вот почему Леонид Ильич Никиткин коммунизм втихаря под сукно засунул!

— Приколы нашего городка?..— усмехнулся Виктор Прокофьевич, мысленно поворачивая сказанное женой и так, и эдак.— Нет, это кто-то зловредно насочинял. Чтобы бросить тень на великую идею коммунизма!

— Иди, иди, идея, за своим треклятым пойлом... А то разберут!— хмыкнула Алевтина.— Кстати, в этом году Никите твоему сто двадцать пять лет исполнилось бы... И я с тобой своего исторического земляка возьму да помяну... Только смотри, Витенька, не запей. Помни про свои уважаемые лета.

— Не более двухсот граммов!— бодро, освобождённо засмеялся Виктор Прокофьевич и с силой огладил своё лицо ладонями сверху вниз, словно стараясь распривить на нём все морщины, так-таки набежавшие за его семьдесят с гаком лет.

Снял Виктор Прокофьевич с магазинной полки одну бутылку, потом другую, третью... Бдительно повертел, оценивая со знанием дела. Но ни одна что-то не впечатлила его. Не покидало ощущение, будто он тут, в магазине, как на минном поле: везде и всюду контрафактный товар и прочие наглые подделки. Травят народ, сволочи. А повод сегодняшний требует зелья высшего пилотажа. Как-никак Виктор Прокофьевич семерых вождей пережил! Нагяделся, наслаждался от них такого, что на три жизни хватит отплёвываться.

Тут вдруг охранник магазинный откуда-то из закуулка азартно выскочил и на дороге перед ним, подбоченясь, стал. Неказистый, комар комаром, но с особым едким гонором во взгляде. Хотя возраста не намного моложе Виктора Прокофьевича. Так и кажется, что охранник этот глазами к нему уже за пазуху забрался. А может, и в душу сунется без спроса?..

— Чё тебе, дед? Что ты тут шастаешь, бутылки зазря лапаешь?— откашлялся сочно, густо.— Охрану нервируешь. Надо взять что-то— бери. Не маячь без толку.

— Да было бы что взять...— невозмутимо произнёс Виктор Прокофьевич и пошёл было прочь, чувствуя, как от бдительного, пронзительного

взгляда этого резвого сторожа у него начинает болеть голова. Почти как в то время, когда ему «неврастению» приписали.

— Стой, дед! Уйдёшь, когда я твои карманы проверю!— вдруг до надрыва построжал, отчаянно просиял охранник. И влёт крикнул продавщицам:— Девки! Закрывайте магазин! Я вора, какжись, накрыл! А то сбегнет ненароком!

И тут между ним и Виктором Прокофьевичем вдруг тесно вписались трое парней: по всему видно, они пришли повторить. То есть по второму заходу сунулись в магазин. И, по всему, очевидно, что они ещё не раз за сегодняшний вечер сюда вернуться. Пусть не всей компанией, но у кого-то одного так-таки достанет сил. Одеты достаточно прилично, физиономии нормальные, но уже в режиме скорой выключки.

— Ты чего, опричному человеку день портишь?— проговорил один из них, положив охраннику руку на голову, словно припухшую вялой тусклой лысинкой.

Игриво блеснули нетрезвые тёмно-синие глаза парня. Он внимательно и с подчёркнутым уважением оглядел Виктора Прокофьевича:

— Батя, разреши тебе предложить бутылочку хорошего, нет, очень хорошего коньяка в качестве сатисфакции за этого сторожевого дебила?

— Благодарю. Только я и сам себе способен взять,— встряхнул плечами Виктор Прокофьевич.

— Не напрягайся, батя!— кашляюще засмеялся другой парень, точно из последних сил. Ухмылка его разъехалась во все стороны, как круги на воде.— Нам это ничего не стоит. От нас не убудет. А тебе— маленький праздник.

— Вам как всегда?!— радостно спросила шумную тройцу кассир, откуда-то из-под ног доставая одну за другой несколько бутылок отменного крымского коньяка «Бахчисарай»: искристое густое ласковое золото самой что ни на есть высшей двенадцатилетней пробы-выдержки.

На улице, заметно трезвее на глазах, синеглазый вежливо, но хватко взял Виктора Прокофьевича за рукав. Тихо проговорил, пригнувшись с высоты своего приличного роста почти лицом к лицу:

— Прости, батя, ты при Сталине родился? При Иосифе Виссарионовиче?

— Да, молодой человек,— строго сосредоточился Виктор Прокофьевич.

— В общем, навидался ты всяких генсеков и президентов...

— Лично—никого...

— Я к тебе со всем уважением, батя. Ты мне казался правильным мужиком,— подчёркнуто внятно проговорил синеглазый.— Я давно хотел такого встретить. Знаешь, жогу и выглядываю. Особенно когда на грудь хорошо приму. Тогда у меня душа распахивается! И азарт появляется... Так вот, у меня есть для такого, как ты, правильного

мужика, повидавшего жизнь, один вопрос. Всех вопросов вопрос. Глубинный! Нутряной. Лично я глухо не знаю настоящий ответ на него. А вот твоё мнение мне важно! До задыха!

— Боюсь я, что ты насчёт меня ошибся адресом... — напряжённо вздохнул Виктор Прокофьевич, невольно опустил голову и увидел, что стоит на улице возле магазина в своих старых домашних тапочках, подошвы которых, чтобы не разъявлялись при каждом шаге, приходилось время от времени подклеивать и небольшими саморезами впереди прихватывать. Он ещё потом их бархатным напильником аккуратно подтачивал, чтобы дома доски пола остриём не цепляли, скрежеща, напрягая нервы.

— Как хочешь отговаривайся, но я от тебя не отстану без ответа,—сердечно проговорил синеглазый.

Виктор Прокофьевич с любопытством посмотрел на него и вдруг рассмеялся—ни с того ни с сего как-то приятно потеплело у него на душе. Так давно не было...

— Говори свой вопрос.

Парень опустил ему на плечи обе свои тяжёлые, явно не интеллигентные руки. Кажется, от них потянуло запашком едкого сварочного дымка.

— Как тебя зовут?

— Зовут? Виктор Прокофьевич меня зовут... Степанов я.

— Так вот скажи мне, Виктор Прокофьевич Степанов, это верно, что в нашей стране когда-то собирались построить коммунизм? Для всех?! Кажется, при Хрущёве?

Виктор Прокофьевич почувствовал, что у него от волнения нервно задрожали губы.

— Именно так... — горячечно-глухо выговорил. — Было на то особое решение двадцать второго съезда КПСС. В том году, когда Гагарин в космос полетел.

— А почему я нигде вокруг себя не вижу в реальности этот коммунизм?! Жду ответ! С волнением.

Синеглазый чуть приотдвинул Виктора Прокофьевича от себя, наверное, чтобы лучше видеть его лицо, чтобы по нему, в дополнение к ожидаемым словам, глубже, пронзительней оценить суть предстоящего откровения.

— Руки убери... — дружелюбно вздохнул Виктор Прокофьевич.

Те немедленно оказались в карманах куртки, втиснувшись в соседство к бутылкам коньяка с поэтическим названием «Бахчисарай», по-нашему—«Дворец в саду».

— Да, коммунизм так и не построили... Горько, конечно. До невозможности... — тихо, невнятно проговорил Виктор Прокофьевич—А причину я до сих пор толком не знаю... Сталин в своё время примерно так сказал о коммунизме: это такое общество, где не должно существовать

государственной власти. Может быть, в этом заковыка? Кто такое, сидя наверху, допустит? Какие-такие «сильные мира сего»?

Синеглазый стремительно, хватко обнял Виктора Прокофьевича:

— В точку сказано, батя! Значит, Сталин с головой был мужик. Но откуда же тогда у него кровавый тридцать седьмой, репрессии?

— Это от Владимира Ильича и его соратников наследие, дорогие мои ребятки... От них—концлагеря, расстрелы без суда и следствия... А насчёт Сталина... Отец рассказывал мне одну историю... — напрягся Степанов. — Ты в ней Иосифа Виссарионовича вину найдёшь? В общем, на дворе тридцать седьмой год... Село Лукачёвка. Утро. И батя мой, ещё пацанчик малой, слышит, как отец заходит и своей жене шепчет: «Мань, конюха Ваську Краснова забрали этой ночью...» — «Как так?... А за что?...» — «Приехала чёрная машина, воронок, его посадили и увезли...» Прошло время, и всё наконец наружу выплыло. Васька этот, Кириллов, а по улице—Краснов, на конюшне с мужиками выпил бутылку доброго самогона. Захмелел и понёс: дескать, я в нашей стране есть самая главная фигура, потому что человек трудовой, считай, почти пролетарий! А кто такой Сталин? Поп недочувшийся! Так что моя трудовая власть—первая по классовому чину. Захочу—жену Сталина могу завалить хоть на сеновале, хоть в поле!.. Понимаете, как он выразился? А в нашей деревне у тех самых органов был информатор... Про то каждая собака знала. Его звали Николай Сергеевич, Николай Сергеевич Белкин—избач, при библиотеке состоял. Так вот, дошло до Белкина, как Васька по пьяни оскорбил мужскую честь и достоинство вождя народов! Не откладывая, Николай Сергеевич составил бумагу и подал её в НКВД. Ну и что? Да то! На раз-два Ваське припечатали десять лет. Сталина не спрашивая! И отправили куда-то в Магадан. Он не вернулся. И через десять лет. Был слух, что урки его порешили. Васька Краснов вроде и там себя выше всех пожелал поставить... — Она как, батя! — ахнул синеглазый. — Мне твои слова так дороги! Именно твои. Взгляд у тебя маститый! Ты точно духовный пастырь! В Бога веруешь?

Синеглазый хватко, яростно перекрестился. Да так размахисто, что люди, как раз тогда мимо них проходившие, испуганно откачнулись.

— Ну да, ну да... — аккуратно проговорил Виктор Прокофьевич и, чтобы не разочаровать парня, дрогнувшей рукой в свою очередь осенил себя. Достаточно, правда, неуклюже.

— Оно, дед, оно! — горячо вскричал синеглазый. — Я читал, будто Черчилль писал, что русские непобедимы, пока жива их вера православная! Сволочь он, но меня проняло. Даже вспотел я... Нет больше такого народа в мире, чтобы отличался нашим

умилением перед Сыном Божиим и Пресвятой Пречистой Богородицей...

— Все ребятки, всё, мне пора... Оставим для трезвой головы эту деликатную тему...— вздохнул Виктор Прокофьевич и вдруг озарённо объявил каким-то даже не своим особенным голосом:— Правду мы всё равно разговорами не найдём! Правду умом не постичь. Только верою православной!.. — Век тебе благодарен буду за такое откровение!— радостно взревел синеглазый, лучисто засияв.— Батя, ты меня человеком утвердил!

Торопливо вернувшись, Виктор Прокофьевич в коридоре тихим сапом принялся аккуратноттирать половой тряпкой подошвы своих домашних тапок, в которых по забывчивости только что шлёпал по улице и даже в магазин заперся.

— Сейчас по телеку такое сказали...— тихо проговорила Алевтина.

— На Марсе найдена жизнь?

— В этом году пенсия будет увеличена на тысячу рублей!.. Брехня, может?

Виктор Прокофьевич солидно задумался:

— В нынешних новостях надо правду между строк искать...

— Тысяча... Да что такое она сегодня?..— напряглась Алевтина, сощурилась так, будто лук чистила.— Один раз в магазин сходить!

Виктор Прокофьевич взволнованно обнял жену:

— Кстати, завтра мне уже можно идти на почту за пенсией. Десятое число будет, моё самое. Вот я там и погляжу на эту прибавку, есть она или нет. И порадуясь ей вместе со всем нашим честным народом. Танцы-манцы с тобой устроим!

Вечером Виктор Прокофьевич как-то так допоздна засиделся у телевизора, будто впаялся в старое затёртое матерчатое кресло. Уже все «его» новостные передачи давным-давно прошли, однако он никак не спешил перебраться в постель. Всё ждал про ту тысячную прибавку что-нибудь ясное услышать. Не услышал.

— Ты как себя чувствуешь?..— осторожно подошла Алевтина.

Виктор Прокофьевич промолчал.

— Приболел, что ли?

— Ещё чего...

Он трудно, продолжительно вздохнул... И вдруг застенчиво сказал:

— А иконы у нас, Алечка, дома есть?..

Алевтина побледнела и насторожилась.

— А они тебе нужны?..— она робко перекрестилась.

— Я спросил, ты—ответь... Не задавай лишних вопросов. Ох и народ же вы странный, женщины!

Алевтина зачем-то подошла к окну и замерла, увидев напротив в пустоте над холмом полную, налитую светом Луну—небесный одуванчик: коснись—и рассыплется на мелкие парашютики.

— Вить, а почему у Земли нет второго спутника? А то небо какое-то одноглазое, одинокое...— усмехнулась она.

— Ты от главной темы не уходи...— опустил голову Виктор Прокофьевич.

— Иконы...— вдумчиво проговорила Алевтина.— Ты, может, надумал их выбросить? И заменить своим моральным кодексом строителя коммунизма? Щас, разбежусь я их тебе подать.

— Принеси, пожалуйста, если есть...

Алевтина порывисто вышла и также скоро вернулась, держа в руках с особым достоинством, гордостью выцветшие иконки из свечной лавки: Спас Нерукотворный, Казанская Божья Матерь и Николай Угодник, которого Алевтина часто с аккуратной нежностью называла «Угодничком». Были те иконы самые что ни на есть небольшие—такие проще от своего домашнего «воинствующего» атеиста прятать.

— Если ты их сейчас выкинешь, я в окно выброшусь...—отчаянно проговорила Алевтина.

Виктор Прокофьевич по-детски виновато посмотрел на жену. Угнулскак-то набок.

— Я хочу креститься...—тихо, тревожно отозвался.

— Что такое случилось, Вить?.. Мир пополам треснул?!—чудаковато привскрикнула Алевтина.

Застенчиво усмехнувшись и скрестив руки на затылке, Виктор Прокофьевич неторопливо, обстоятельно рассказал, как он недавно с молодёжью в магазине говорил о коммунизме, а они его слова не только не с дерзостью или насмешкой восприняли, а с настоящим благоговением, вдохновенно уверившись, что говорят с человеком глубоко верующим. И такой стыд его тогда вдруг пронял. Такая пронзила ошеломляющая вина за свой окаянный доморощенный атеизм.

— Ты знаешь, я там с ними при разговоре вдруг машинально... перекрестился. И так хорошо это вышло. Такое небывалое чувство тотчас объявилось во мне... Какая-то невиданная свобода. Никогда такой в себе не ощущал. Точно мой заветный коммунизм вдруг разом наступил! В душе!— Виктор Прокофьевич слёзно вздохнул.—И вот тебе моё резюме: хочу, мать, окреститься. На старости лет. А ещё меня как осенило: все беды нашей страны—через тот самый атеизм! Варварский... Когда храмы рушили, рукоположенных священников в проруби топили или на воротах церковных распинали... Вот и маемся теперь через это! — Я тебе, миленький, во всём помогу. Всё подскажу, что и как надо правильно делать. Радость какая! Витенька...—чуть ли не обморочно прошептала Алевтина.—Да ты мне этим своим решением годков жизни несчётно прибавил! А то я всегда молилась украдкой, с трепетом оглядывалась на каждый твой шаг... И так переживала за твоё тупое безбожество... Дорогой мой! Наконец! Прости, Господи, нас грешных...

— Решено, Алечка... — растроганно покивал Виктор Прокофьевич и, приотвернувшись, большим пальцем торопливо прикончил слезу, припухшую в костистом подглазье.

— Так давай с тобой прямо сейчас молитвы начнём учить? — опустила Валентина на корточки рядом с мужем.

— И начнём! — бодро сказал Виктор Прокофьевич.

...Вскоре он крестился. В любимом Алином храме, Никольском, который уже триста лет мощно стоял на одном из причрчных воронежских холмов белоснежной стройной свечой: в последнюю войну, хотя и обустроили немцы на нём наблюдательный пункт, ни один осколок или пуля его не зацепили. Когда немцы бежали — город зажгли, а храм пламя миновало.

Самого обряда крещения Виктор Прокофьевич толком не запомнил. Как слепящий свет всё вокруг застил. Крестилось сразу человек пять. Стояли в шеренгу. Чуть ли даже не по росту. Первым был какой-то высокий поджарый мужчина лет пятидесяти в белом ярком костюме и с густыми императорскими усами на сухом длинном лице, лихо загнутыми вверх — ни дать ни взять настоящий дворянин, далее — эдакий богатырь с тяжёлой золотой цепью на шее, какая-то худенькая заплаканная девочка лет десяти в простеньком сарафанчике, похожая на его маму в детстве, потом же смущённо, робко теснились какие-то женщины с лихо орущими младенцами. И пред ними — весь какой-то нежно-счастливый, будто приотворившийся вот-вот взлететь в божественные дали, маленький, сухонький батюшка Иван. Кажется, он был готов их всех восторженно перецеловать.

А после таинства крещения совершалось миропомазание: у Виктора Прокофьевича дух перехватило, когда душистый маслянистый холодок коснулся его рта, лба, глаз, ушей, ладоней, груди... Как издали услышал он напевные, проникновенные слова батюшки:

— Печать дара Духа Святого. Аминь.

А следом, в унисон им, невесть откуда вдруг строго и торжественно прозвучало: «В Царствии Небесном обретёшь равенство и братство...»

Из храма после крещения вышел Виктор Прокофьевич нетвёрдо, пошатываясь. Точно только родился и впервые увидел этот земной мир вокруг себя. Ещё шаг-другой — так оттолкнётся и, может быть, даже полетит. Аля, точно подозревая возможность такой оказии, как бы на всякий случай крепко держала мужа под руку. Обоим плакать хотелось. Виктор Прокофьевич нет-нет да и шмыгал носом. Густо так, ёмко. При всём при том Алечкина шла напряжённо и так, словно на цыпочках. Будто некая сила и её аккуратно, заботливо тянула вверх.

Алечкина сегодня наконец открыто выставила в зале на серванте свои ранее старательно припрятанные иконы, — и, правда, не без смущения,

впервые помолилась пред ними, не таясь от мужа, с тихой радостью громко выговаривая милые слова: — Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бесмертный...

Виктор Прокофьевич, став рядом с Алей, тоже перекрестился, часто искоса поглядывая на неё, чтобы не ошибиться в своём движении рукой, и застенчиво, почти про себя, шепотком вторил ей Иисусову молитву.

...А когда наступил тот январский день, суливший ни много ни мало тысячную прибавку к пенсии, отправился Виктор Прокофьевич на почту. Ранней раннего лыжи наострил, но всё равно первым никак не оказался — многие пенсионеры в то утро сорвались с постелей досрочно, с эдаким коммерческим азартом. Само собой, в основном явные старики. Которым битых полчаса надо всякий пустяк растолковать.

— Паспорт взял?! — ласково-бдительно крикнула ему вслед Алечкина, только что проговорив завершительное «аминь» перед живо, радостно сияющими на серванте иконами, освобождёнными из долгого тайного заточения.

Виктор Прокофьевич промолчал. Что-что, а паспорт он никогда не забывал. Такая привычка в нём осталась ещё с советской поры. Без паспорта — никуда. Мало ли что? А вдруг как? Ничего не докажешь про себя.

Кстати, бывать на почте ему по-своему нравилось. Здесь ощущалась какая-то особая атмосфера — может быть, потому, что сюда приходили и отсюда уходили непрерывными потоками письма, посылки, телеграммы во все уголки страны и далее того. На почте он чувствовал себя как бы стоящим на высоком холме, откуда волнуяще видна бескрайняя даль дальняя всей земли нашей.

Получив пенсию, не отходя, деловито, строго пересчитал. Наверное, хотелось кончиками собственных пальцев вживе явственно ощутить весомость прибавки.

Тысячными ему выдали пенсию. Как всегда. И, как всегда, этих тысячных оказалось ровно девять штук. И к ним — некие рублей шестьсот «пристёгнуты».

Виктор Прокофьевич напряжённо вздохнул. — Что вы ещё ждёте, дедуля?! — с неприязнью вскрикнула оператор, вся из себя красивенькая, молоденькая.

— Прибавку к пенсии жду, ту, тысячную... — глухо отозвался Виктор Прокофьевич.

— Откуда я вам её возьму?!

— Было же сказано... В связи с повышением пенсионного возраста. Мол, полагается...

— Что вы, дедуля, на меня тут своим китайским чесноком настырно дышите?! — построжела оператор. — Замордовали! Каждому объясняй. Я так в психушке скоро окажусь. Слушай, старик, и запоминай: те, у кого, типа тебя, пенсия была меньше

прожиточного минимума, получали социальную доплату. А как только пенсия увеличилась, то, соответственно, настолько же сократили и урезали эту самую социальную доплату. Получилось так, что одной рукой вам дали, а другой рукой взад и забрали! Вот такая икебана!

Виктор Прокофьевич в озадаченности деньги машинально выронил.

Стоявшая за ним тяжёлая, дородная старушенция на костылях испуганно отшатнулась, чтобы в своей внезапной заполошной суете Виктор Прокофьевич её не опрокинул, и строго-насмешливо объявила на весь зал:

— Нечего тут своими грошовыми деньгами мусорить!

— Вроде как тысячу обещали прибавить...— тупо проговорил Виктор Прокофьевич.

— Если каждый будет тут умничать... Покиньте очередь, Степанов!— вдохновенно-строго поставила оператор.

На почте народ словно этого только и ждал: — Ступай, дед, подобру-поздорову! Бабка твоя уже все глаза проглядела, тебя высматривая! Гражданин, не нервнируйте народ! Не мешайте победному шествию капитализма!

— Вы это... того,— с усилием выдохнул он через онемевшие слипшиеся губы.— Я как-никак ударник коммунистического труда...

— Все мы тут—ударники!—радостно хихикнул кто-то в толпе.— Каждый день ударяем по карману, а денюга там как не было, так и нет! Слово при коммунизме живём...

Виктор Прокофьевич при этих словах тотчас обернулся на голос—так резко, что чуть голова с плеч не сорвалась. Но увидеть никого не увидел: серебристое сияние застило всё.

В него он и повалился, теряя равновесие...

Пришёл в себя Виктор Прокофьевич в машине скорой помощи. Кажется, ещё не ехали. Он лежал на слегка перекошенных носилках, туго прихваченный ремнями. Пахло какой-то лекарственной дрянью. И почему-то ливерной колбасой. Он тревожно вздрогнул, решив было, что находится на операционном столе.

— Что со мной?...—прошепелявил, не узнав свой голос. Словно кто-то другой это за него спросил. Чуть ли не голосом соседа Анатолия.

— Обморок...—глухо отозвалась медсестра, апетитно, сосредоточенно догрызая бутерброд с каким-то «какашкиным» паштетом.

— Так что, трогать?!—это, кажется, водитель крикнул. И тоже голосом, похожим на голос Анатолия. — Как вы себя чувствуете?...—низко наклонилась к нему медсестра.

Запах ливерной колбасы усилился, стал физическим ощутимым, словно она была у Виктора Прокофьевича во рту. Никудышная колбаса. Как почти всё в нынешних магазинах. Точно из пластика

вонючего сварганенная. Плюс ароматизатор запаха, то бишь вони, явно самостийного подпольного производства.

— Ничего вроде...—тихо сказал Виктор Прокофьевич, как оглядев себя изнутри внутренним бдительным взором.—Только вы не подумайте, пожалуйста, что вся эта напасть со мной приключилась из-за того, что мне вместо обещанной тысячи к пенсии выдали только шестьсот с небольшим.

— Чего мне думать? Оно мне надо?—хмыкнула медсестра.—Наше поколение ни о чём таком уже не думает. К вашим годам у нас вообще никакой пенсии отродясь не будет. Всё миллиардеры себе приберут. Да Бог с ними, с оглоедами. Вы-то идти сможете своими ногами, дедушка?

У неё было достаточно заботливое и не совсем как бы по-современному расхристанное, заполошно-диковатое лицо.

«Неплохая девчушка...»—машинально подумал Виктор Прокофьевич и застенчиво наморщил нос.

— Да, идти я смогу.

— Или лучше подвезти вас?

— Не надо. Тут недалеко.

— Нет, всё равно подкинем. Зима.

— Я в порядке.

Через полчаса Виктор Прокофьевич, побряхывая, парил ноги на кухне в тазике, добавив в кипяток, по их домашнему рецепту, полстакана яблочного уксуса, столько же питьевой соды и столовую ложку тёртого имбиря.

И тут пришёл Анатолий. То есть как бы вломился, точно штурмом взял их дверь, как некогда, по собственной легенде, ворота дворца Амина. Он ворвался в тот самый момент, когда Виктор Прокофьевич ритуально парил ноги, а напротив него, обессиленно привалившись к дверной притолоке, стояла со свежим махровым полотенцем заплаканная Алевтина, сердечно огорчённая случившимся на почте происшествием с мужем. — Вот тебе, бабушка, и Юрьев день... Сочувствую по полной программе!—вежливо протиснулся Анатолий.—Как там наш великий генералиссимус Суворов говорил? После бани штык продай, а выпей!

— Только, чур, сегодня ты мне про то, как штурмовал дворец Амина, рассказывать не станешь...—душевно засмеялся Виктор Прокофьевич.

— Зуб даю!—одним, а потом вторым глазом беголо подмигнул Анатолий.—Я лучше вам расскажу, через какую оказию мне теперь можно хоть и вовсе от моей нищей пенсии отказаться! Как вам известно, моя дочь замужем, в Москве давно живёт. Внучка мне родила. Эдуарда! Вырос умный пацан! В мгуна математическом факультете он самый продвинутый. Победитель всемирных олимпиад. Так вот, он проникся моим бедственным пенсионным положением и стал регулярно

присылать денежку. Приличную. А откуда она у него? Так вот, я эдак хитроумно выяснил у дочурки: оказывается, мой внучок, будущий Эпштейн, в стриптизном клубе после занятий по вечерам выступает... Денег платят ему там немерено! — Всё-таки, наверное, Эйнштейн... — строго вздохнул Виктор Прокофьевич. — И вообще, как-то это всё нехорошо...

Анатолий хмыкнул и вдруг махом выпил две рюмки подряд с видом человека, которому отныне всё в этой жизни позволено: заслужил, выстрадал. Третью налил! Даже казалось, что он сейчас под неё, невзирая ни на что, так-таки приступит к самому своему коронному рассказу — про взятие дворца Амина и как моджахед ему из пращи камнем по спине жажнул.

— Что смотрите на меня как на врага народа?! — Анатолий вскрикнул глухо, с каким-то то ли присвистом, то ли сильным верещанием. — Тарзану певицы Королёвой, значит, стриптиз разрешён и даже как будто определён ему в заслугу, а нам, простым людям, — фиг?

— Молчу-молчу... — покорно опустил голову Виктор Прокофьевич. Прежде всего — чтобы слезу неожиданную спрятать. — А я, милые мои, в светлое будущее всё равно верю... — покаянно вздохнул Виктор Прокофьевич и вдруг побледнел, точно окунулся лицом в тазик с мутно-серой краской. — Я понимаю, что ничего не понимаю... — сокрушённо вздохнул Анатолий. — Ясно одно, Прокопыч: тебе надо было в своё время в философы подаваться, а не на физмат переться. В тебе наш российский Кант пропал!

— Тогда я предлагаю тост за несбывшуюся коммунистическую мечту пострадавшего советского народа... — тихо, сердечно проговорил Виктор Прокофьевич и хотел было покаянно перекреститься, но не успел даже замахом рукой сделать — вкось соскользнул на пол.

Почему-то в этот миг Алевтина машинально вспомнила, как однажды у неё на глазах упала в реку Воронеж статуя Сталина. До того она лет тридцать простояла на косогоре в здешнем доме отдыха имени Горького. Отсюда скульптурный Иосиф Виссарионович во всякое время года вдохновенно глядел на замечательные лесистые заречные просторы, пока не грянул двадцать второй съезд партии. На следующий год на глазах у Али и её подруг какие-то суетливые люди, подрубив топорами гипсовые ноги вождя, столкнули его с крутого обрыва. Девчонки, естественно, отчаянно ахнули. А придя в себя, с озорным визгом попрыгали в реку. Аля нырнула, и вот перед ней на дне, чуть ли не лицом к лицу, глядит на неё сквозь мерцающую быструю воду сам дедушка Сталин — с улыбкой, озорновато так, но при том и печально.

...«Без меня пропадёте...»

С визгом вылетела Аля на берег...

...Как ни странно, «медицина» приехала скоро. Фельдшер скучно осмотрел Виктора Прокофьевича, велел сестре сделать какой-то укол, и Алевтина поехала с мужем в областную больницу — судя по колдобинам, куда-то за город.

Всю дорогу молчали — медики от усталости, она от ужаса, а Виктор Прокофьевич просто-напросто был без сознания. На дорожных ямах его голова с синюшно-бледным, ничего не выражающим лицом тупо переваливалась из стороны в сторону, словно он от чего-то настойчиво отнекивался. Алевтина с отчаянием чувствовала, что в большом безвольном теле Виктора Прокофьевича его самого сейчас как бы и нет: душа словно бы отлетела — то ли временно, то ли уже навсегда...

Остаться с Виктором Прокофьевичем в больнице, «чтобы хоть пот отирать у него со лба», ей не позволили.

Только на третий день Алю так-таки допустили в реанимацию. Она по-хозяйски поправила каждую складочку его одеяла, устроила поудобней подушку и поставила в изголовье на тумбочку миску своих, как налитых, тёмно-румяных ядрёных котлет. Чтобы Витенька хотя бы вдохнул аромат родного дома.

Ей вдруг показалось, что веки Виктора Прокофьевича напряглись, словно он силился открыть глаза...

Как бы то ни было, этой ночью, часу в третьем, Виктор Прокофьевич слабыми, мучительными рывками впервые оторвался от своего жёсткого реанимационного ложа. Уныло, тупо огляделся в палате, болезненно щурясь от здешнего зыбкого мертвенного света. И вдруг робко улыбнулся, вспомнив привидевшееся ему во время операции путешествие в некий явно неземной мир. Вначале, как он и читал об этом в Интернете, был какой-то огромный ребристый тоннель с тусклой подсветкой. Из него Виктор Прокофьевич с удивительным равнодушием оглянулся на своё бездыханное тело, далеко внизу окружённое взволнованными врачами, усмехнулся и смело тронулся дальше.

Виктор Прокофьевич медленно плыл сквозь тоннель, как восходил из глубины морской к густому золотистому свету вверх. И будто бы звук колокольный, мягко-ёмкий, невесть откуда исходящий, становился с каждой минутой всё отчётливей.

«Тебе ещё рано сюда... — вдруг тихо, бережно сказал ему нежно сияющий ангел с перламутровыми крылышками, приснувший навстречу, как голубок с карниза. — Ты сейчас вернёшься обратно... Только запомни: тебе поручено передать всем людям, как им, наконец, наладить на земле радостную, справедливую и счастливую жизнь. Вы много горя испытали на своём пути и не раз мечтали построить достойное, светлое будущее.

Но каждый раз выбирали ошибочные тупиковые пути. Как и с коммунизмом. Истина в учении, которое называется Харисто гунаиз. Человеку достаточно будет произнести эти два слова, как он и все люди на планете, точно по мановению волшебной палочки, обретут заветное счастье! Это как бы ключ к нему».

И Виктор Прокофьевич действительно как бы вернулся назад, на свою больничную кровать, ещё не остывшую. Он долго лежал в полной неподвижности, как бы заново привыкая к своему большому, пронизанному болью телу. Наконец медленно потянулся и начал отсоединять от себя всякие там трубки и провода, а потом, набравшись смелости, опустил ноги и неспешно зашаркал искать хоть кого-то. Он остро сознавал, что может в любую минуту умереть уже по-настоящему. Так что ему было крайне необходимо, не откладывая, сообщить хоть кому-то те заветные ключевые слова ангела.

Палаты все были закрыты. Дежурная медсестра лихорадочно спала, словно вгрызлась в свой загадочный сон: всё её хрупкое тельце резко подёргивалось. Виктор Прокофьевич нащупал на служебном столе возле телефона лист чистой бумаги и ручку. Несмотря на растущую боль за грудиной, начал старательно писать.

Последнюю точку он поставил, когда за окном реанимационной взбурлило Солнце, ещё тускло-багровое, чёткое, не задохматившееся своими размашистыми лучами.

В палате Виктор Прокофьевич аккуратно прилёг, прижался к пропахшей лекарствами подушке и вдруг заплакал. Это были счастливые слёзы радости за счастливое будущее человечества.

...Через две недели его выписали. Он уже мог достаточно сносно ходить с бадиком, сам ел, правда, только левой рукой, и почти всё понимал, что происходило вокруг. Только речь к нему ещё толком не вернулась. Говорить он моментами говорил, порой даже избыточно много, слишком лихорадочно. Эта его новая речь разве что походила на крик раздражённой сойки. Само собой, его никто не понимал — ни Алевтина, ни Анатолий, и даже жившая над Степановыми вузовский преподаватель французского языка Жозефина Легранд ничем не могла помочь. Тарабарщину нес, одним словом, Виктор Прокофьевич.

Правда, через несколько дней Жозефина привела к Степановым на консилиум двух своих коллег, маститых профессоров с кафедры мировых языков и культур того самого универа, в котором Виктор Прокофьевич полвека назад проучился три курса на легендарном физмате.

— Зацените сей филологический феномен! — чуть ли не со слезами на глазах вскрикнула Жозефина.

Около получаса Виктор Прокофьевич сдержанно, даже застенчиво беседовал с учёными

на своём особом языке, а потом постепенно начал всё более раздражаться и в конце концов нервно перешёл на досадливый крик.

— Асдар годзи долук! Ор эхфун тилои сусор! Эглис оторон юрфес! Харисто гунаиз!!! — в таком вот духе яростно объяснялся он на своём неслыханном языке, скрипел зубами и лихорадочно писал учёным записки — одну за одной, вкривь и вкось. И хотя русскими буквами, но не менее заумно.

Чувствовалось, что во всём этом его загадочном словоизвержении именно два слова «Харисто гунаиз» особенно важны для Виктора Прокофьевича. Словно в них какой-то важный смысл был заключён. Он произносил и писал это своё «Харисто гунаиз» с особым волнением и едва сдерживал гнев, видя, что его никак не понимают. Кулаком грозил, бледным от перенапряжения.

— Такого языка, на котором сейчас говорит ваш муж, нет на планете ни у одного народа, народности или племени, — наконец объявили учёные Алевтине свой профессорский вердикт. — И не было ни у кого в прошлом. Построение звуков, частей слов у Виктора Прокофьевича таково, словно перед нами язык, извините, какой-то внеземной цивилизации! Не меньше и не больше...

Через несколько дней Виктор Прокофьевич, наконец, обречённо замолчал и только время от времени судорожно-дерзко усмехался и густо вздыхал. То, что у него ни с кем не установилось взаимопонимание, всё настойчивее начинало казаться ему тайным разговором против такого близкого, такого возможного всечеловеческого счастья.

Где-то через месяц те самые два профессора принесли выписанное ими из Израиля новейшее лекарство по части инсультов.

На третьи сутки Виктор Прокофьевич заговорил как все. Достаточно отчётливо. Это, само собой, стало общим праздником. Вновь собрались вместе Аля, преподаватель французского Жозефина Легранд и Анатолий с женой. Конечно, профессора пришли, ещё и с каким-то своим приятелем, просто-таки светилом сегодняшней медицины. Кажется, именно он и помог достать в Израиле спасительное лекарство. Или даже сам его создал.

За праздничным столом Жозефина в подробностях рассказала гостям о странном «инопланетном» языке, на котором ещё недавно так горячо изъяснялся больной Степанов. Словно из кожи вон лез донести до человечества некое великое откровение. Жозефина с усмешкой показала всем и самому Виктору Прокофьевичу листки, на коих тот упорно, стояя и вскрикивая, писал странные загадочные слова, но чаще всего, настырней всего именно то самое «Харисто гунаиз».

— Откройте нам, наконец, что за тайна скрывается в них! — требовательно вскрикнула Жозефина.

Виктор Прокофьевич пробежал глазами свои карачули, побледнел от напряжения и беспомощно оглянулся по сторонам.

— Эглис оторон юрфес... Харисто гунаиз... Убей не помню, что это такое. Неужели я всю эту ахинею настрочил? Вы не путаете? Какой-то бред сивой

кобылы... Извините... — смутился Виктор Прокофьевич и вдруг тихо заплакал, прижав ладони к лицу. — Я человек больной... Не мучайте меня!

На этот раз слёзы были по-детски горячие и быстрые. Словно что-то нагорело у него внутри, накалилось безмерно...